

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

154

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 154

III — 1988

О РОМАНЕ "РАКОВЫЙ КОРПУС"
А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Во второй половине 60-х годов, руководитель парижской студии радио "Свобода" В. Ризер (под псевдонимом В. Шиманский) организовал ряд круглых столов на литературные темы, в которых принимали участие литературные "известности" эмиграции — поэт и критик Г. В. Адамович, романист Г. И. Газданов (под вымышленной фамилией Черкасов), иногда В. В. Вейдле. В некоторых из этих бесед участвовал и я в качестве представителя молодого поколения эмиграции. Помню беседы о Толстом и, в частности, обиду Г. В. Адамовича на мою ретивую реплику о толстовских глупостях в теологической области (Толстой был кумиром Адамовича). Были еще беседы об Алданове, о Бунине и др. Но самым памятным остался круглый стол о "Раковом корпусе" (начало 1968 г.), тогда еще распространявшемся в самиздатской рукописи: на нем царил общее одушевление людей разных возрастов, вкусов и темпераментов, объединившихся в радостном открывании большого произведения, равного которому "не было за последние 50 лет", как сказал Адамович. Беседа о "Раковом корпусе" была не только передана в эфир, но и вышла в виде небольшой брошюры вместе с другой беседой, о статье Сахарова, но, насколько мне известно, в продажу не поступила и сколько-нибудь широкого распространения не получила.

Н. С.

В. Ризер: — В нашей очередной беседе за круглым столом участвуют: литературный критик и поэт Георгий Викторович Адамович; профессор русской литературы Парижского университета Никита Алексеевич Струве и редактор второй программы радио "Свобода" Георгий Иванович Газданов. Ведет программу Виктор Ризер. Мы записываем эту беседу в нашей парижской студии и будем говорить о последнем произведении Александра Солженицына — о его романе "Раковый корпус". Мы этот роман прочли пока только в рукописи, потому что он здесь еще не издан, но скоро, видимо,

появится. Георгий Иванович, я обращаюсь сначала к вам и попрошу вас сказать несколько слов о содержании романа.

Г. Газданов: — Должен заметить, что изложить коротко содержание этого произведения — очень трудная задача: в романе нет определенной последовательности, действие его не развивается классическим образом, — это в общем описание людей, которые собраны в этом раковом корпусе, то есть в клинике, где лечат рак; с одной стороны, здесь больные, с другой — врачи, сиделки, фельдшерицы и так далее. И на этом фоне, который очень своеобразен, потому что в конце концов все эти больные знают, — большинство из них во всяком случае знает, — что они обречены, что им остается жить немного, и они говорят так, как не говорили бы в нормальных условиях. И говорят о том, что можно было бы назвать "последними истинами".

С другой стороны — врачи, которые занимаются ими и у которых вполне определенное отношение к этим людям: попытка спасти их во что бы то ни стало, хотя эта попытка чаще всего безнадежна. И вот на этом фоне идет длительное повествование о больных, о врачах, о жизни каждого из них, о том, что они думают, о том, как они говорят, как они подходят ко всем этим вопросам, и это все описывается на протяжении 600 страниц. В этом, собственно, и заключается содержание романа. Конечно, содержание, вот так изложенное, не может дать должного представления о романе, но я надеюсь, что представление о нем расширится в ходе нашего дальнейшего собеседования.

В. Ризер: — Георгий Викторович, какое у вас общее впечатление от этого романа?

Г. Адамович: — Знаете, об этой повести (мне кажется, Солженицын, несмотря на размеры книги, называет "Раковый корпус" повестью) было столько слухов, столько разговоров, столько доходивших до нас отзывов, что, естественно, здесь, на Западе, возник особый интерес к ней, тем более, что мы уже знали, что Солженицын — замечательный писатель, на основании того, что было напечатано, в частности на основании такого небольшого, но, по-моему, замечательного рассказа, как "Матренин двор". Однако было у нас также и отношение чуть-чуть скептическое, и вот почему. Например, в "Фигаро", распространеннейшей французской

газете, помещена была корреспонденция из Москвы, где было сказано, что этот роман ставится в Сов. Союзе на уровне произведений Толстого и Достоевского. И, естественно, хотелось сказать, как когда-то, кажется, Белинский сказал Некрасову и Григоровичу: "У вас Гоголи как грибы рождаются!" Хотелось сказать, что Толстые и Достоевские рождаются раз в столетие и, как Солженицын ни талантлив, не надо с такими сравнениями спешить. Но, когда я прочел "Раковый корпус", этот скептицизм у меня отпал. Не в том смысле, что роман написан так, как ни одна книга за последние пятьдесят лет не была написана, — нет! В "Раковом корпусе", в сущности, много формальных недостатков, однако духовный уровень этого произведения действительно заставляет вспомнить о Толстом и Достоевском. Я не могу назвать, не могу вспомнить за последние пятьдесят лет ни одной книги, даже подписанной самыми большими литературными именами, которая бы восходила к тому, что именно так значительно в Толстом и Достоевском; нет ни одной книги, которую в этом отношении можно было бы поставить в один ряд с "Раковым корпусом". Многие скажут: на этом же уровне находится "Доктор Живаго" Пастернака. Нет! Может быть я ошибаюсь, но, по-моему, "Доктор Живаго" гораздо больше "литература в кавычках", гораздо легче, рассеянее. У Пастернака в "Докторе Живаго" меньше подъема, напряжения, духовного взлета, чем у Солженицына в "Раковом корпусе". Только этот роман надо прочесть по крайней мере два раза, потому что в нем очень много такого, что с первого раза пропускаешь, на что не обращаешь внимания, — как, впрочем, все значительные книги надо читать два-три раза.

В. Ризер: — Никита Алексеевич, что вы думаете об этом романе?

Н. Струве: — Я совершенно согласен с Георгием Викторовичем и присоединяюсь к каждому его слову. Я прочел роман залпом. Написан он на редком, невиданном в XX веке духовном уровне, исключителен и в смысле чисто литературном. В романе ничего, собственно, не происходит: люди, на протяжении 600 страниц, лежат в раковом корпусе, никаких событий там нет, почти нет перемены декораций, только к концу главный герой романа Костоплов выходит в город. Роман в целом совершенно статический, но в то же время он читается с неослабеваемым интересом. И здесь дело не только в духовном уровне, о котором Георгий Иванович

так правильно во всех отношениях сказал. Нет, тут мы видим действительно большое, очень большое мастерство, напоминающее мастерство не только Толстого и Достоевского, но и Чехова: не кажется ли вам, например, что замысел "Ракового корпуса" вышел из "Палаты № 6"?

В. Ризер: — Георгий Иванович...

Г. Газданов: — Вот тут сравнивались Толстой, Достоевский, Чехов, Солженицын. Я думаю, что это несколько не преувеличено. Ведь что, собственно говоря, самое существенное в произведениях Толстого и Достоевского? То, что там говорится о самых главных вещах, о самых глубоких проблемах и самым соответствующим образом. И то же самое есть у Солженицына.

Георгий Викторович упомянул о том, что в "Раковом корпусе" много формальных недостатков, и я готов с этим согласиться. Действительно, формальных недостатков в романе много, но вот что замечательно: когда вы читаете его, вам и в голову не приходит мысль, как он написан, — об этом не думаешь. Это действительно движение, за которым вы следуете, и это лучшее доказательство того, что роман написан так, как нужно. Конечно, "Доктор Живаго" по сравнению с "Раковым корпусом" кажется произведением не очень значительным. Но не только "Доктор Живаго", не только советская литература, но я бы сказал, что вообще почти все, что вышло за последние пятьдесят лет, не имеет такого проникновения в глубину, какое есть у Солженицына. Вот мое впечатление как среднего читателя. Я только жалею, что должен был прочесть эту книгу за очень короткое время и не имел возможности прочесть ее второй или третий раз; поэтому я не сомневаюсь, что очень многое от меня ускользнуло. Это чрезвычайно печально, но иначе я поступить не мог.

В. Ризер: — Помимо того, что было здесь сказано о достоинствах книги, можно ли сказать (по крайней мере у меня создалось такое впечатление), что роман Солженицына — самый полный документ о советской жизни, который до сих пор оттуда к нам появился? Какое впечатление у вас, Георгий Викторович?

Г. Адамович: — Это очень интересный вопрос. Когда я начал читать первые страницы, те, где Русанов — человек всем довольный,

вполне благополучный — приезжает в больницу, мне казалось, что это "Смерть Ивана Ильича", что это одна из бесчисленных вариаций на тему "Смерти Ивана Ильича" — в сущности, тема вечная, на которую, вероятно, будет множество вариаций. А потом я понял, что это не совсем так. Конечно, смерть Ивана Ильича как бы витает над всеми персонажами повести Солженицына. Но не все ею исчерпывается. Потом понимаешь мало-помалу, что это — роман о нашем времени, о том, что в России произошло за последние пятьдесят лет, о том, что сделало это время с людьми, в частности, с такой семьей, как семья Русанова, которая блестяще показана в романе, — с женой, с дочерью, сыном. Последний, то есть сын, чувствует, что его отец и поддлец и дурак, но слабо сопротивляется ему.

Георгий Иванович заметил, что я говорил о недостатках романа. Если я упомянул о недостатках, то не потому, что считаю, что роман не безупречно написан. Да, повторяю: такой книги за последние пятьдесят лет не было, но стилистически были книги не хуже, а может быть и лучше написанные. Дело, однако, не в том, как написан "Раковый корпус", есть ли в нем стилистические недостатки. Конечно, роман можно было бы сократить, потому что в нем есть пестрота, и когда читаешь его в первый раз, создается впечатление, что автор перескакивает от одного эпизода к другому, не соблюдая основной линии. Это впечатление держится очень долго, и только к концу понимаешь, что это, во-первых, роман о смерти человека, о том, что каждому из нас предстоит и что каждого человека по-разному удивляет или ужасает, чего он не может понять. А во-вторых, это, конечно, роман о России и о том, что произошло за последние тридцать-пятьдесят лет на нашей родине.

Н. Струве: — Я даже скажу больше: мне кажется, Солженицын поместил в "Раковый корпус" почти всю советскую Россию, что это книга об итогах пятидесятилетней перестройки России по определенной идеологии. Ведь если взглянуть на коммунистов, выведенных в романе: один коммунист подлиза, другой коммунист благополучный, третий, Русанов, — коммунист, если хотите, порядка.

В. Ризер: — Сановный...

Н. Струве: — Сановный, даже. Есть еще один коммунист — честный, открытый, верящий, что человек определяется своей работой. Но есть там и другие образы ловкачей, или образы горемык, людей просто застигнутых несчастьем, не имеющих сил сопротивляться и не понимающих, что вокруг них происходит; есть образ человека, который всю свою жизнь приспособлялся — "приспособленца". Потому, мне кажется, этот роман — подлинно эпопея: вся Россия собрана в нем. И в этом смысле "Раковый корпус" — роман эпохальный.

В. Ризер: — Можно сказать, что Солженицын применил в своем романе какой-то писательский "трюк", чтобы показать именно всю Россию.

Г. Газданов: — Мне кажется, что замысел автора — это поставить всех людей в такое положение, при котором они говорят то, что действительно думают, и выражают то, что действительно чувствуют. Лежат в этой клинике люди, приговоренные к смерти, и, конечно, они не станут говорить ненужных и лишних слов. Когда, например, Русанов говорит в споре с Олегом, что "Ленин раз и навсегда сказал", Олег ему возражает, что раз навсегда сказать вообще никто ничего не может, потому что все в жизни меняется. И потом, вы помните, замечательный разговор Шулубина с Олегом, когда Шулубин цитирует Пушкина: "В наш гнусный век на всех стихиях человек — тиран, предатель или узник!", и после говорит: "В конце концов вот вы пострадали, вы были жертвой. Но нам пришлось еще хуже: я двадцать пять лет молчал, четверть века ничего не говорил, и вот теперь, когда я уже обречен ... я могу сказать, что это недопустимо ...". Потом он делает замечание бедной пожилой фельдшернице, которая говорит, что на войне был убит ее сын, что война может быть и национальная, война может быть и справедливая, но для нее-то, для нее это последняя война, потому что она отняла у ней самое главное... Одним словом, все эти люди...

В. Ризер: — Георгий Иванович, вы помните, что и молодая немка, доктор Гангарт, которая потеряла на войне жениха, тоже говорит: "Для меня это была последняя война". Это лейтмотив...

Г. Газданов: — Да, это верно: там никто не говорит незначительных вещей, и все, что они говорят, полно огромного смысла, и это именно какие-то последние вещи. Поэтому роман и производит такое необыкновенное впечатление.

Г. Адамович: — Вот вы вспомнили доктора Веру Корнильевну Гангарт. Замечательна глава, где говорится о ее частной жизни, о ее женихе, хотя она, может быть, и не относится к главной теме книги. Вы сейчас высказали догадку, что Солженицын вводит тему смерти для того, чтобы показать, что именно в России произошло. Но ведь дело в том, что когда человек умирает, или когда он думает о смерти, то ему, естественно, хочется так или иначе подвести итоги. Поэтому здесь не то чтобы прием (я не думаю, чтобы это был искусственный прием), — нет, это получилось само собой. Может быть, Солженицын даже и не думал, что это приведет к тому, к чему привело. Знаете, как у Пушкина: "Сквозь магический кристалл, еще не ясно различал" ... Какой писатель этого не испытывал!..

А вот Георгий Иванович сейчас вспомнил разговор Костоглотова, или, вернее, монолог Шулубина, потому что Костоглотов, в сущности, молчит, а говорит Шулубин. Если разрешите, тут я немножко задержусь: мне бы хотелось об этом разговоре больше сказать.

Мне всегда казалось, что русская литература как будто ждет, чтобы все то, что произошло в наше время, было бы, наконец, отражено, и что нужен в нашей новой литературе такой разговор, как, скажем, в "Братьях Карамазовых" знаменитые разговоры Ивана с Алешей, что-нибудь на этом уровне. Потому что действительно в наше время произошли вещи неслыханные, которые невозможно, нельзя забыть. И этот разговор Шулубина с Олегом поднимает роман Солженицына до такого уровня. Необычайный разговор, помните, когда Шулубин говорит, что он больше страдал, поднимая руку и голосуя за расстрел близких людей, чем Костоглотов, когда тот сидел в тюрьме. Но в этом разговоре есть одна подробность, которой мне хотелось бы коснуться, хотя это и удлинит нашу беседу.

Шулубин спрашивает, почему, видя сталинский террор, молчала вдова Ленина (он ее почтительно, как принято в России, называет Надежда Константиновна)? Вспоминает он и Орджоникидзе, который тоже молчал. И вот об этом хочется кое-что сказать.

Вполне возможно, что вдова Ленина, Надежда Константиновна Крупская, была лично человеком отзывчивым, добрым, — дело, однако, не в ее личности. Дело в том, что она, как представитель эпохи, как ее символ, должна была, по мнению Шулубина, возвысить голос, хотя, конечно, заплатила бы за это жизнью: несомненно Сталин бы ее расстрелял. Но разве Крупская не представляет собой те начальные годы революции, из которых вышел Сталин? В эти годы, — как бы ни оценивать их, — революция бесспорно сделала очень много по сравнению с русским прошлым в государственном, экономическом, социальном смысле. Но одновременно это были годы, когда как будто прорвалась лавина бесчеловечности, когда страну захлестнул террор, в котором человек перестал быть отдельным человеком, а стал какой-то статистической единицей, представляя собой не себя лично, а тот нисходящий класс, к которому его отнесли и в котором как будто все плохо, не в пример восходящему классу, где все хорошо. Обо всем этом чрезвычайно трудно говорить, обращаясь к советским слушателям, и я сейчас эту трудность особенно чувствую. Во-первых, потому, что многие из них, вероятно, скажут, что это все выдумки, клевета и чего же де можно ждать от людей, оторвавшихся от своей родины и теперь даже не знающих, что такое русский народ, может быть, забывших его. Кроме того, трудно говорить потому, что советская печать в течение пятидесяти лет держит прошлое в каком-то тумане, окрашивает первые революционные годы в приторно-слащавые тона, будто в это время была только доброта, только забота о человеке, забота о русском народе. Да, была забота о русском народе, но была она какой-то статистической, почти абстрактной. А одновременно было море крови, страданий, бедствий. Страдали люди, которые лично ни в чем виноваты не были, и даже если были виноваты, то страдали не только они, а и их матери, отцы, близкие. Я, кажется, говорил, что разговор Шулубина с Костоготовым напоминает разговор Ивана Карамазова с Алешей — по значению, по уровню. Но Иван Карамазов об этом бы наверно поговорил! Он сказал бы несколько незабываемых слов не только в восхваление, в прославление этого времени, но и в вечный упрек ему! Иван Карамазов, наверно, не забыл бы сказать о том, о чем Шулубин лишь намекает, будто махнув рукой, чувствуя, что он умрет, вероятно, не сегодня-завтра. Помните, перед тяжелой операцией он говорит: "Я весь не умру", потому что "осколочек Мирового Духа (это его точные слова) во мне бессмертен". А если он говорит об

"осколочке Мирового Духа", то, конечно, этот "осколочек" живет в каждом человеке, к какому бы он классу ни принадлежал, а никак не в коллективе, не в классе нисходящем или восходящем. Все это приводит именно к тому, что заставляет вспомнить времена, из которых Сталин и вышел, и которые советская пропаганда вот уже много лет представляет не тем, чем они были. Но кто эти годы пережил, тот никогда их не забудет.

Говоря это, я не упрекаю лично Солженицына. Во-первых, потому, что автор не отвечает за слова своих героев. Если вспомнить героев Достоевского и Толстого, то надо заметить, что герои Достоевского часто противоположны героям Толстого. Когда говорит, например, Пьер, или говорит что-нибудь Левин, мы чувствуем, что это говорит сам Толстой. Достоевский нередко сам с собой спорит и не отвечает за многое, что говорят его герои. И Солженицыну нельзя ставить в упрек, что он того-то не сказал. Но роман его, если бы Шулубин это сказал, был бы еще правдивее, глубже и во многом бы выиграл.

В. Ризер: — А не думаете ли вы, что Солженицын именно потому этого не сказал, что в тех условиях, в которых работают советские писатели, этого все-таки нельзя говорить. Он, видимо, хотел дать своему роману возможность появиться в советских условиях. Возможно, что у него были какие-то иллюзии. Если бы он договаривал все...

Г. Адамович: — Да, простите, — да, конечно, он мог бы... Это догадка очень верная, это необходимая поправка. Мы, в сущности, не знаем всех тамошних условий и можем только догадываться по тому, что нам о Солженицыне рассказывают или что мы о нем читаем. Но он не промолчал, он с укоризной подчеркнул, что Надежда Константиновна и Орджоникидзе не возвысили голоса. Лучше было бы о них не упоминать. Надежда Константиновна, повторяю, была, может быть, добрым, порядочным, честным человеком. Но она — символ времени, символ всего того, что тогда в России делалось.

Н. Струве: — Я не думаю, чтобы Солженицын, — это на него совершенно не похоже, — в этом романе отдал какую-нибудь дань цензуре. Мне кажется, что величие Солженицына в том, что он правдив и отважен до конца. Он в своем письме замечательно

сказал, что свое писательское дело он сделает, даже если будет в могиле, или, вернее, что тогда его слово будет звучать еще сильнее.

Теперь я хотел бы вернуться к двум пунктам нашей беседы. Первый пункт — о писательском приеме, в силу которого у Солженицына вся Россия отражена в "Раковом корпусе". Я думаю, что это не прием, а что в этом именно сказался художественный гений. Поражает в романе то, что все эти разнообразные герои, представляющие все слои советского общества, осязаемо живут, что каждый из них имеет свою автономную жизнь, что они входят в нашу жизнь, живут с вами и вы с ними живете. И это, может быть, и есть один из главных признаков большого произведения, где герои делаются осязаемыми. Когда я прочел первую часть рукописи и не знал, буду ли я иметь вторую часть, мне казалось невероятным, что я теперь должен оставить этих людей, перестать с ними жить, — так хотелось знать, что же с ними случилось потом? То же самое было со мной и при чтении второй части. Роман закончился на том, что Костоглов выходит из больницы, — очень хотелось знать, ну, а что же дальше? Еще бы с ним пожить! И в этом я вижу опять-таки действительно художественную удачу, или вернее...

Г. Адамович: — Простите, Никита Алексеевич, но я хочу вас перебить. Вы поняли... вы обратили внимание, что Костоглов умирает?*

Г. Газданов: — На последних страницах...

Г. Адамович: — Должен признаться, что и я, прочтя роман первый раз, не понял, что Костоглов умирает в поезде... И там упоминается еще этот несчастный зверек макака-резус, которому бросили в глаза горсть табаку, и зверек ослеп. Последняя фраза очень характерна: она дает почувствовать, что произошло что-то страшное. Однако это не совсем ясно. Только прочтя второй раз, я понял, что Костоглов умер.

Г. Газданов: — Мне кажется, что, начиная с того момента, когда Костоглов уходит из клиники, в романе появляются какие-то

предсмертные, траурные страницы, становится ясно, что он умрет...

И есть еще один момент. Мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу мастерства Солженицына, его умения характеризовать эпоху и разных людей. Вы помните высказывания Русанова, которому жена сообщает, что из ссылки вернулся реабилитированным один из знакомых, попавших в лагерь с помощью Русанова, — и Русанов в ужасе. Потом культ личности. Русанов говорит: — "Боже мой, какая ужасная вещь, какое было прекрасное время в тридцать седьмом году, когда общественность очищалась!" — когда он, будучи предателем и негодяем, чувствовал себя действительно прекрасно, потому что ему ничего не угрожало; он готов был предать тогда кого угодно и считает, что это было замечательное время...

Г. Адамович: — Простите, у меня дурацкая привычка перебивать. Вы помните, когда дочь Русанова говорит отцу о Сталине и культе личности, и даже произносит слово, которое в советском обиходе почти не употребляется: "Ведь это богохульство!" — восклицает Русанов.

Г. Газданов: — Да. А вот с другой стороны: в том же монологе Шулубина, когда он говорит, что "нас заставляли требовать на митингах расстрела" и цитирует слова отчета о митинге в газете: "Советский народ, как один человек..." — Как один человек? — спрашивает Шулубин. — Да что же разве мы все дураки, что ли? Как это вообще было возможно? И как можно верить, что вот эти люди, которых мы знаем, что они враги народа?

Надо сказать, что тут действительно подчеркивается какая-то трагическая глупость того, что тогда говорилось. И вот это сопоставление высказываний Шулубина и Русанова об одном и том же времени культа личности представляет собой, по-моему, очень выразительный момент.

В. Ризер: — Никита Алексеевич, вы говорили о двух пунктах...

Н. Струве: — Да. Второй касается монолога Шулубина, в который Солженицын вложил частично, — как это делал и Достоевский, — свои мысли. Конечно, Шулубин не выражает целиком мысль Солженицына, потому что сама психологическая основа Шулубина не

*) Это, как выяснилось, была ошибочная трактовка Г. В. Адамовича.

совпадает с психологической основой Солженицына и биографически более близким лицом к Солженицыну остается Костоглотов: Солженицын прошел тот же путь, что и Костоглотов, кроме смерти. Потому-то, читая роман, я в нее и не поверил: ведь Солженицын сам выжил! Солженицын был в лагере десять лет, был также в раковом корпусе в Ташкенте и выжил. Тем не менее основные мысли Шулубина или, вернее, самые его положительные мысли выражают несомненно кредо, веру Солженицына. Шулубин-Солженицын предлагает программу жизни, которую он называет не христианским социализмом, потому что это слишком высоко для человека, а нравственным социализмом. И здесь — основная тема Достоевского. Весь этот роман говорит о том, что человек не сводится только к социальным отношениям. К социальным отношениям никак нельзя свести бессмертие человека — то, что он не умрет целиком. Когда Шулубин говорит: "Весь я не умру", — он утверждает личный нравственный принцип, на котором должно быть основано общество или с которым оно должно считаться.

В. Ризер: — Такой же протест и в разговоре между доктором Гангарт и Олегом, — помните, когда шло переливание крови? Гангарт говорит, что она читала книгу, которая сводит все половые отношения между мужчиной и женщиной к какому-то абсолютному материализму, — неужели в это можно верить? И они вдвоем соглашались, что, конечно, нет: верить нельзя. Это очень интересно потому, что здесь видно, как понемножку разрушается материалистический мир, который так упорно проповедуется в Советском Союзе. Вы хотите еще что-то сказать, Георгий Викторович?

Г. Адамович: — Два слова еще по поводу нравственного социализма. Шулубин говорит, что нужен именно нравственный социализм, то есть тот социализм, который согласован с тем, что человеку диктует совесть. Он говорит: не нужно вести человечество к счастью, которого все равно мы не добьемся (он не верит, что какой-либо государственный строй сделает людей счастливыми), а нужно взаимное расположение людей, хотя бы только это.

Но вот, возвращаясь к первому периоду революции, я думаю, что был тогда только один человек, который чего-то хотел в этом плане. Это — Максим Горький. Потом он пошел на большие, жалкие компромиссы и от многого отказался. Но в первые годы, даже тогда, когда он уже перешел на сторону власти, он еще об этом

помнил. Он ездил к Ленину, защищал людей, которые были лично ни в чем не повинны, кроме того, что родились великими князьями или, может быть, принадлежали к высшему обществу. И тут можно вспомнить для иллюстрации подобных настроений, как поразило когда-то Альбера Камю, что Каляев отказался бросить бомбу в карету вел. князя Сергея Александровича, которого он убил только при втором покушении, потому что в первый раз в карете с князем ехали дети, такие же великие князья, как и тот, которого он хотел убить. Очевидно, у Каляева было представление о шулубинском нравственном социализме, то есть о том, что дети ни в чем не виноваты и ими нельзя жертвовать. Здесь опять мы возвращаемся к Карамазовым, к знаменитым "слезинкам ребенка": нельзя жертвовать человеком ради проблематических будущих свершений, как бы прекрасны они ни казались. Потом все это стало оцениваться иначе, как сентиментальность, как наивность, и тому же Горькому возражали, что он занимается пустяками, между тем как надо думать о социальном изменении всего строя России. А он думал, вероятно, о том, без чего никакой строй неприемлем и никогда приемлемым не станет.

Г. Газданов: — Мне хотелось бы напомнить еще случай, когда в палате речь зашла о коллективе и Костоглотов заявил, что человек есть часть коллектива, однако лишь до тех пор, пока он жив. Но когда он умирает, он остается один. Это напоминает паскалевское: "On mourra toujours seul". Та же нота звучит и у Солженицына. Умиравший всегда один.

Потом, мне хотелось бы отметить еще один, если хотите, лирический момент (их много у Солженицына, таких случаев чистого лиризма). Помните, Костоглотову должны делать переливание крови, и он, обращаясь к Вере Корнильевне, которую любит, говорит, что он соглашается на это потому, что переливание крови делает ему именно она и что это в конце концов акт любви. Эта сцена написана замечательно и необыкновенно убедительно.

И еще одно последнее, что я хотел бы сказать. Тут говорилось о "Палате № 6" Чехова. Действительно есть что-то общее между Чеховым и Солженицыным. Но, в отличие от Чехова, мне кажется (может быть, это утверждение вызовет возражения), что в книге Солженицына, несмотря на крайне трагичное и мрачное ее содержание, есть что-то оптимистическое. Есть какая-то жизненная сила, которая внезапно прорывается, и мы это чувствуем. И мы еще

чувствуем другое: что несмотря на пятьдесят лет унылой советской пропаганды, несмотря на полвека попыток совершенно исковеркать человека и задушить в нем то, что в нем живет, — выяснилось наконец, что эти попытки несостоятельны. Потому что, если бы они удались, роман Солженицына не мог бы быть написан и его герои не говорили бы так, как они говорят.

Н. Струве: — Да, я хочу вас в этом поддержать, — указать на одну особенность романа, о которой мы не говорили. Тема этого романа очень страшна. Тут тоже проявилась смелость Солженицына: чтобы взяться за такую тему, описывать страдания и смерть людей от рака и только это и описывать фактически, — надо действительно обладать необычайной жизненной силой. И вы правы, говоря, что жизненная сила Солженицына, наверно, спасла его и в лагерях. Эта жизненно-нравственная сила передалась и роману, который говорит о самом последнем и о самом страшном — о тяжелых болезнях, о неотвратимости смерти. И вместе с тем с самого начала и до конца в романе разлита какая-то мягкость, мягкость подхода к человеческой душе, и эта мягкость освещает страницы книги. И я понимаю, почему об этом романе говорят чуть ли не с благоговением. Потому что действительно на нем почит какой-то свет, какой-то нравственный свет и нравственная сила.

Г. Адамович: — Да, я согласен с тем, что было сказано Никитой Алексеевичем об оптимизме этого романа. Конечно, роман в целом тяжел, и он не может не быть тяжелым. Кстати, я уже слышал отзывы, будто невозможно его читать: очень уж в нем все грустно, тягостно. Но книга и не должна непременно вызывать улыбки и приятное настроение.

Оптимизм книги отчасти связан с сыном Русанова. Со старшего Русанова нечего спрашивать: с важным видом и апломбом он способен говорить лишь пошлости и глупости. Помните, когда в палате зашел разговор о рассказе "Чем люди живы" Толстого, он говорит: "Позвольте, Толстой получил три раза сталинскую премию, он не мог такой чепухи написать!" — спутав Льва и Алексея Толстых. Не таков образ сына Русанова — человека мягкого, даже слабаватого, но который все-таки по отцовской дороге не пойдет. Отец им недоволен. Когда сын едет в командировку и протестует против несправедливого, жестокого, бесчеловечного приговора, подает особое мнение, задерживает приговор, — отец возмущен: раз

человека присудили, значит он виноват! В сущности вся надежда нашей страны в том, что, когда это поколение само собой станет во главе страны, не сможет длиться то, что происходит теперь. И мне кажется, не случайно Солженицын ввел в роман этого молодого человека, который, при всей своей душевной зыбкости, отказывается согласиться с тем, что ему проповедует и внушает отец.

Н. Струве: — Мне кажется, здесь мы видим, насколько этот роман широк по своему замыслу. Может быть, рядом с будущей Россией можно поставить образ прошлой России в лице престарелого доктора Орещенкова, замечательного по своему моральному облику человека. Несомненно, Солженицын хотел соединить эти оба конца — нравственный облик старой России и нравственное выздоровление новой.

В. Ризер: — Это также видно и в образе его женщин, которые замечательно описаны в романе: старая докторша Донцова и молодая Вера Корнильевна Гангарт. И в некоторой степени даже эта очаровательная сестра Зоя, немного, правда, легкомысленная... В описании их все тонко, мягко, замечательно, и доброта такая...

Г. Адамович: — Я немножко опасуюсь того, что сказал сейчас Никита Алексеевич об образе старой России. Это рискованное сопоставление: советские слушатели могут решить, что мы связываем наши сожаления и наши надежды со старым русским строем, идеализируем его, уверяем, что старый русский строй был мягкий, безупречный, сплошь одушевленный прекрасными, добрыми, мягкосердечными людьми и т. д. Это, конечно, не так. Когда мы говорим о теперешнем русском строе, у нас есть риск впасть в идеализацию прошлого, в котором было много такого, чего не должно было быть. Конечно, жили и тогда люди, которые были бы согласны со взглядами старшего Русанова. Однако тогда была все же бóльшая возможность так или иначе высказаться, проявиться людям сердечным, добрым, таким, которые не унижают человеческий образ. Теперь это труднее, и, конечно, это у Солженицына проступает. Но только повторяю: не будем слишком слепо и безоговорочно идеализировать русское прошлое, чтоб нам не вернули оттуда прилизительно тот же упрек, который мы делаем им.

В. Ризер: — Это Никита Алексеевич хотел связать...

Н. Струве: — Вы знаете, основная задача сейчас для русских людей, — поскольку я мог ее уловить из моих разговоров с советскими людьми, приезжающими на Запад, — это как раз восстановление связи с прошлым. Прошное ничем им не угрожает, но разрыв с прошлым угрожает пустыней. И вот найти дверь к прошлому, понять, чем было это прошлое, понять, откуда была его красота — красота человека и красота культуры, — это действительно сейчас болезнь, тяга советской молодежи, стремящейся не вернуться к прошлому, а построить лучшее будущее.

В. Ризер: — Мне кажется, что у Солженицына самое важное — это скорее надежда на будущее, чем возвращение к прошлому. А возвращение к прошлому мыслится только в смысле возобновления русской гуманной культурной традиции. Вот ведь в чем дело! И вот что мне кажется особенно показательным: возьмите любой роман, какой-нибудь советский средний роман среднего советского писателя, прочтите его и после этого посмотрите, что и как пишет Солженицын. Действительно — небо и земля! И тот факт, что в этих условиях, в такой тяжелой жизни мог появиться такой писатель, как Солженицын, — это, по-моему, одно из самых радостных явлений. И радостно оно особенно потому, что "Раковому корпусу" предшествовали "Один день Ивана Денисовича", замечательнейший "Матренин двор" и другие вещи Солженицына. Один только "Матренин двор" оправдывает все что угодно.

Н. Струве: — Не знаю, можно ли привести тут то, что мне говорила в последний приезд в Париж Анна Андреевна Ахматова о Солженицыне, о впечатлении, произведенном на нее его рассказами: "Когда появился "Один день Ивана Денисовича", я сказала: "Это должна прочесть вся страна". А когда появился "Матренин двор", я плакала. А я редко плачу".

И можно только пожалеть, что она не дожила до появления "Ракового корпуса", — произведения, которое безусловно станет эпохальным.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции : К 70-летию Александра Солженицына 3

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

■ О доступности богослужения

О доступности церковной службы — <i>свящ. В. Адаменко</i>	5
Славянский или русский язык в богослужении — <i>Г. Федотов</i>	13
Основные проблемы современной православно-христианской церковной жизни и некоторые пути их решения (<i>Анкета самиздата, 1988</i>)	40

Принципы православной антропологии — *Прот. Василий Зеньковский* 67

■ К биографии А.Ф. Лосева

А. Ф. Лосев — <i>А. Тахо-Годи</i>	92
Последний из "могикан" — <i>А. Гулыга</i>	96

К 70-летию АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

К 70-летию А. Солженицына — <i>В. Сендеров</i>	99
Пророк и отечество — <i>Глеб Анищенко</i>	106
О романе "Раковый корпус" А. Солженицына — Радио-беседа: <i>Г. Адамович, Г. Газданов, Н. Струве</i>	113
О Солженицыне — <i>В. Вейдле</i>	129
От одной "глыбы" к другой — <i>Жорж Нива</i>	131
О "Марте Семнадцатого" — <i>Н. Струве</i>	137
О Солженицыне в России	147
Образ императрицы в "Красном колесе" А. Солженицына — <i>Ю. Кублановский</i>	150
Два кредо (Этика и эстетика у Солженицына и у Бродского) — <i>М. Назаров</i>	175
Александр Солженицын и "Мемориал"	193

ПАМЯТИ СЕСТРЫ ИОАННЫ РЕЙТЛИНГЕР

Сестра Иоанна Рейтлингер — <i>Н. Струве</i>	195
Из писем к московской молодежи — <i>с. Иоанна Рейтлингер</i>	198
Сестра Иоанна Рейтлингер : воспоминания о встречах — <i>Татьяна Майар</i>	202

1000-летие КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Празднества Тысячелетия в Сибири	205
--	-----

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

■ **"НЕВСКИЙ ДУХОВНЫЙ ВЕСТНИК"** (Из № 2, 3, 4)

События и факты. О. Александр Шедрин (1913-1988).
Церкви на Шуваловском кладбище; церковь Пресв. Троицы.
Проф. прот. Владимир Сорокин; проф. прот. Николай Гундяев.
Почему забыли? (О новых святых). Обзор печати: "Аминь" (№1);
"Земля" (№4); "Благовест" (№1); "Бюлл. христианской обществ.",
(вып. 3-4) 217

В МИРЕ КНИГ

Книга о. Серафима Роуза и православие — <i>NN</i>	247
Памятник русского символизма — <i>П. Маковкин</i>	253
С глаз долой... — <i>Н. Артамонова</i>	258

SOMMAIRE

<i>Editorial : Pour le 70-è anniversaire d'Alexandre Soljénitsyne</i>	3
---	---

THEOLOGIE, PHILOSOPHIE

<i>Pour une liturgie intelligible à tous — V. Adamenko</i>	5
<i>Slavon ou russe à l'église? — G. Fedotov</i>	13
<i>Comment résoudre les problèmes de l'Eglise et des paroisses</i> <i>en URSS? (Enquête du Samizdat)</i>	40
<i>Conception orthodoxe de l'anthropologie (fin) — P. Basile</i> <i>Zenkovski</i>	67
<i>Le philosophe A. F. Lossev dans les années 30 — A. Takho-Godi</i>	92
<i>A. Lossev, le dernier des "Mohicans" — A. Goulyga</i>	96

Pour le 70-è ANNIVERSAIRE d' A. SOLJENITSYNE

<i>Pour le 70-è anniversaire de Soljénitsyne — V. Senderov</i>	99
<i>Le prophète et son pays — G. Anichtchenko</i>	106
<i>«Août 14» — Table ronde 1968 avec G. Adamovitch,</i> <i>G. Gazdanov, N. Struve</i>	113
<i>A propos de Soljénitsyne — V. Veidlé</i>	129
<i>D'un roc à l'autre — G. Nivat</i>	131
<i>"Mars 1917" d'A. Soljénitsyne — N. Struve</i>	137
<i>Soljénitsyne vu par ses lecteurs russes</i>	147
<i>L'impératrice Alexandra dans "La roue rouge" d'A. Soljénitsyne</i> <i>— Youri Koublanovski</i>	150
<i>Ethique et esthétique chez Soljénitsyne et Brodski — M. Nazarov</i> <i>Alexandre Soljénitsyne et l'association "Memorial"</i>	175
	193

IN MEMORIAM SOEUR JEANNE REITLINGER

<i>Sœur Jeanne Reitlinger, iconographe</i> — N. Struve	195
<i>Lettre à la jeunesse moscovite</i> — Sœur Jeanne Reitlinger	198
<i>Sœur Jeanne à Tachkent</i> — Tatiana Maillard	202

LE MILLENAIRE DU BAPTEME DE LA RUSSIE

<i>Célébrations du Millénaire en Sibérie</i>	205
--	-----

« LE MESSAGER SPIRITUEL DE LA NEVA »

Extraits des N° 2, 3 et 4	217
-------------------------------------	-----

Chroniques. In memoriam P. Alexandre Chtchedrine. Les églises du cimetière Chouvalovo; l'église de la Trinité. Nos pasteurs : P. Vladimir Sorokine; P. Nicolas Gundiaev. Les nouveaux saints russes. La presse du Samizdat : "Amen" (N°1); "Zemlia - La Terre" (N°4); "Blagovest - L'angélus" (N°1); "Bulletin de la vie chrétienne" (N°3-4).

LE MONDE DES LIVRES

Fr. Seraphim Rose : <i>Orthodoxy and the Religion of the Future</i>	247
M. Volochine : <i>Portraits d'artistes</i> (P. Makovkine)	253
N. Tolstoi : <i>Les victimes de Yalta</i> (N. Artamonova)	258

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 5 JANVIER 1989
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 463-88